

О лагере – «курорте», работе возчиком и том, как заключенные помогли ей расширить знания о русской литературе

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1684>

13 марта 2014

Собеседник

Левитская Надежда Григорьевна

Ведущий

Формозов Николай Александрович

Дата записи

Беседа записана 13 марта 2014 и опубликована 14 июля 2015.

Введение

Филолог и помощница Александра Солженицына, Надежда Григорьевна Левитская продолжает свой рассказ с того места, как поступила в Рижский университет на филологический факультет. В 1950 году за неосторожные высказывания арестовывают ее брата, а спустя год за сотрудничество с немцами — ее мать и саму Левитскую. Завершающая часть беседы посвящена жизни в лагере и работе возчиком — перевозке леса на конных санях, а также рассказу об интересных и образованных людях, с которыми Левитской довелось столкнуться в лагере и которые помогли ей выжить в те дни.

Николай Александрович Формозов: Мы остановились в прошлый раз на том, что вы поступили...

Надежда Григорьевна Левитская: В Латвийский университет.

Н. Ф.: ...в Латвийский университет. И вы решили, что на биофак поступать... то есть мысли были о медицинском и биофаке...

Н. Л.: Медицинский я сразу откинула... (*Смеется.*)

Н. Ф.: Да-да-да. После опыта...

Н. Л.: После опыта брюшно-тифозного отделения в качестве санитарки. Я тут уже потом, когда вы ушли, подумала: ой, обязательно надо сказать, что это такое знаковое событие было. В один прекрасный — или мало прекрасный день прихожу домой: у меня сидит, у моей постели мама.

Н. Ф.: Это уже в общежитии? Значит, речь о том, что вы уже учились...

Н. Л.: Я учусь...

Н. Ф.: И живете в общежитии.

Н. Л.: Я там уже не первый, не второй — вероятно, третий... Даже точно могу сказать: 48-й год. Это уже третий курс. Но у меня дни были так расписаны, что я до десяти часов всегда сидела в библиотеке. И вот прихожу вечером поздно домой, сидит мама. Что случилось? Чего это она вдруг приехала в Ригу? А жила она на хуторе, где мы после войны оказались. Оказывается, ее отпустил спецконвой, который везет ее в Новгород. Я даже не помню, знала она, куда он ее везет, или нет. Потому что обыкновенно они не говорят, куда едут. Во всяком случае, она с ними едет. И они ее милостиво отпустили переночевать у меня, не повели ни в какой СИЗО или еще куда-то. И вот ночь провели мы вместе и расставались, как в таких случаях, как будто навсегда — кто его знает.

” **Что такое спецконвой — это я узнала потом, от Александра Исаевича. А тогда... Вот она в сопровождении трех архангелов ехала.**

Н. Ф.: А они где ночевали?

Н. Л.: А это их дело.

Н. Ф.: Их дело, да.

Н. Л.: Они ее отпустили. Не знаю, заходили они, смотрели или... Вообще-то в общежитие не пускают, но эту организацию везде пускают. Ну, на следующий день мы расстались. Может быть, и навсегда. Это было весной. Да, весной. Приближалась весенняя сессия. А через несколько дней меня вызывают. Я уж не помню, как. Телефонное-то у нас ведь не было, один телефон на проходной, и все. Не помню, как. Во всяком случае, меня вызвали в это самое учреждение. До сих пор помню ощущение овцы, которая идет на заклание. Когда я входила туда. Сама иду... А куда деваться? Это было буквально через два, может быть, через три дня после того, как мама была. Что ж, сходила туда, и они мне говорят, чтобы я ехала в Новгород. Для чего? Почему? Неизвестно. Чтоб я ехала туда. На свои деньги.

Возвращение в Россию

Н. Ф.: Сэкономили...

Н. Л.: Я из своей скудной стипендии что-то выделила, еду в этот самый Новгород. Тут было очень интересное ощущение. Я не помню, в этот раз... наверное, в этот раз, потому что обыкновенно мы ездили через Питер. А тут я ехала через Лугу, наверное, это дешевле было. А в Луге — там никакого тебе вокзала,

ничего, такой стоит, три стенки, сарайчик. Это был май месяц, наверное. Погода — такая, как сейчас. И там пересаживаются. Несколько человек вышли из этого поезда, ждут поезд на Новгород. И вот первый раз в жизни... В Питере этого никогда не было — до этого я в Питер ездила. Мы с Иваном ездили, еще до посадки. У нас там бабушка похоронена. Ничего не нашли, там это кладбище рядом с аэродромом было, все разорено. А тут я приехала, и сразу как-то так получилось, что какие-то люди расстелили большое одеяло, чего-то повытаскивали... Ну как принято именно у русских. Это я теперь могу сказать. Всем есть было нечего, но сколько было и что было — картошка, капуста — не капуста, огурцы, еще там что-то...

Н. Ф.: Разделили на всех.

Н. Л.: ...расстелили — и на всех.



И вот такое ощущение было возвращения на Родину, верите или нет! Рядом еще какая-то компания сидела. И так незлобно, спокойно, в разговоре, материлась понемножечку, и все равно это так было домашне! Просто необыкновенно!

Все-таки я... сколько уже, с 43-го года, а это был 48-й...

Н. Ф.: Пять лет.

Н. Л.: Пять лет я не жила в русской языковой среде. Приехала я туда, и было это воскресенье. Прихожу. В Новгороде, так же, как и в Луге, никакого толкового вокзала нету, так, какой-то барак. Но при бараке есть ГБ, для них специальное помещение. Вот, и идите вот туда. Иду, там никого тоже нету, потому что вечер воскресенья, кто там будет? Отвели меня в какую-то комнату, контору, заперли там. Спала я на столе. Там канцелярские столы, на которых, кроме чернильницы, ничего. Сдвинула ее, что-то постелила, тем покрылась. Переспала. На следующий день пришел какой-то служащий, и до позднего вечера они меня муржили. Я просто сидела, ничего со мной не делали. Никто ни о чем меня не спрашивал. Потом начали спрашивать. Начал меня вести офицер...

Н. Ф.: Не кормили, ничего?

Н. Л.: Это я не помню.

Н. Ф.: А выйти если надо? Конвой?

Н. Л.: Нет-нет-нет.

Н. Ф.: Не выпускали?

Н. Л.: Я просто этого не помню. Может, и кормили... Я ему плету то, что мы придумали, чтобы пропустить эту деревню, эти Пожеревицы, и прямо перескочить на госпиталь. Так нам казалось лучше. Тогда я видела хорошо и без очков, и вверх ногами, и как угодно. А, между прочим, странное дело: все они... Сколько меня допрашивали и сколько было всяких, которые чего-то записывали за мной, они все пишут, в лучшем случае, как ученики четвертого класса. Бо-ольшими буквами и медленно, медленно, медленно. И вот я вверх ногами вижу, что он пишет, и вижу название «Пожеревицы». Ну и чего я буду лапшу на уши ему вешать? (*Смеется.*) Значит, все известно уже, по-видимому, от мамы. Я даже рассмеялась. И рассказала все, что вам рассказывала, только гораздо короче. То, что его интересовало, он с трудом, с трудом все это записал. А где мама — я же не знаю. Посадили ее или отпустили, и где она... Кончил записывать — и отпускает меня. Причем такая любезность! Это 48-й год, еще до реформы. В конце 48-го была реформа денежная, первая. А тут еще всего этого нету, так что все очень скупо. И билет взять — там свалка перед кассами! А я иду с этим хмырем, который меня ведет, и какой-то служащий безо всякой очереди, безо всего, приносит мне билетик. Через Ленинград. Ну ладно. Туда набивается как сельдей в бочке. Поздно-

поздно вечером приезжаю в Ленинград, с вокзала иду к своей двоюродной или троюродной тетке, маминой двоюродной сестре. Больше у меня там никого нет. Это, собственно, единственные родные. А Иван там где-то живет, в каком-то общежитии, я даже не знаю, где он жил.



Иван Григорьевич Левитский — студент Ленинградского железнодорожного института. 1949 г.

Поездка в Ленинград. Арест брата

Н. Ф.: В Ленинграде?

Н. Л.: Да. Прихожу к ней, все рассказываю: вот такое случилось. Там этот Юрий Кузьмич, с которым мама встретилась в Риге в свое время. Он сам не сидел, но у него отец священник все каналы рыл и сидел без конца. И уже после войны, а может, уже в это время его отпустили, он приехал к единственному своему сыну. В Ленинграде жить нельзя, и они начали строить ему деревянный дом. Под Питером есть такое местечко Шапки. Очень красивое место, приятное, сосна и песок. Я сейчас не помню, тогда были эти Шапки или нет. Но к чему я это говорю: этот Юрий Кузьмич — он был ушибленный своей судьбой, тем, что у него такой отец, и он это писал во всех анкетах, и всегда ему этим тыкали, и не был он ни в комсомоле, ни в партии, нигде. И боялся нас до ужаса! Всю нашу семью. Я ему рассказала, что маму увезли, а где она — я не знаю.

Уехала я... Приехала домой. Это как раз было перед сессией. И я ночью, пока ждала, все готовилась к экзамену, как сейчас помню, по литературе XVIII века. Такой учебник был Благого. Поехала я сдавать экзамены. И через малое время, через недельку-две, получаю от мамы открытку, что она в Новгороде,

что ей предписано здесь жить. И что в ту ночь, когда меня отправили так мило и любезно, она ночевала в гостинице единственной тогда в Новгороде. И если бы они меня тихо отпустили, я пришла бы в ту же гостиницу, и мы бы встретились, и узналось, что она говорила, а что я говорила. Во всяком случае, я узнала бы, что мама пока что не арестована, ей предписано жить в Новгороде. Причем и трудоустройство, и жилье — все есть! Ее сразу устроили в больницу: это оказалась очень дефицитная специальность — врач-лаборант. А больница там была в поселке Колмово, это совсем близко, в черте города. И идти туда надо через Волхов. И прежде чем перейти мост, на высоком-высоком берегу стоит единственное каменное новое здание тюрьмы! А город весь, Новгород, был сплошная заросль будяков. И из них торчат трубы. Город сгорел, остались только печи. Страшное дело. Тогда-то я это не видела, а потом уже, когда приезжала к маме. Жуткое дело. От железной дороги до этого Колмова пешком ходили. По-моему, никаких автобусов вообще не было. Так что на хутор я уже не поехала, последние два года ездила к маме. И Иван туда приезжал. А в 1950 году Ивана посадили. Но он себе заработал это дело, его все равно, наверное, как-нибудь посадили бы. Ведь его окружили стукачами, и...



Производственная практика в Двинском техникуме. 1948 г.

”

Господи, что стоит чего-нибудь сказать в студенческом общежитии! А он еще на каком-то семинаре по марксизму высказывался. В общем, посадили. Я еще училась, он уже был сослан в лагерь в Норильск...

Н. Ф.: В Горлаг или в Норильлаг?

Н. Л.: Я даже не знаю. Кажется, во время восстания он там был, но он молчал. Он никогда ничего

не говорил, только отшучивался. У него с левой стороны, под левой грудью был большой шрам. И сколько ни выпрашивали его — и я... и жена, он так никому и не рассказал, что это у него было. «Так, была девка одна, буфетчица», — где-то такое... В общем, ни про какие восстания он никогда не рассказывал, поэтому ничего не могу я сказать.

Н. Ф.: Извините, он был все-таки в Особлаге, в политической зоне, или он в бытовой зоне, ИТЛ, где было много «бытовиков», уголовников? По его рассказам тоже непонятно?

Н. Л.: Нет. Никогда не говорил. Ехал он туда, как положено, по Енисею, в барже, в трюме. Как я понимаю, обобрали его там до нитки: все, что мама ему с собой дала, отняли. А у него была интересная вещь, которую мама, тогда еще неопытная, дала ему: зимнее пальто, сшитое местечковым евреем для папиного отца. Все эти годы, до 41-го, у папы другого пальто не было. Вот так шили тогда, такие были материалы! *(Смеется.)*

Н. Ф.: То есть это было для деда, его носил отец, и потом оно поехало в лагерь с вашим братом?

Н. Л.: Да. А тут еще был такой эпизод, но он очень показателен. Когда Ивана арестовали, естественно, мама без конца приезжала из Новгорода в Ленинград: передачи, что-нибудь узнать. И у нас в Ленинграде тогда, помимо двоюродной сестры маминой, был еще двоюродный брат, он был в Киеве, но к нему мама никогда не ездила, и была еще очень хорошая знакомая, которая до войны часто жила у нас, в нашей большой квартире в Детском Селе. И это был не кто-нибудь другой, а писательница Ольга Форш. А почему? Потому что и Ольга Форш, и моя бабушка, мамина мать, — они были генеральскими дочерьми. Может, не генеральскими, но полковничьими. Дочерьми военных в достаточно высоких чинах. И та и другая остались сиротами. То есть матери у них умерли, и остался отец, который болтался по провинциальным гарнизонам: то туда, то сюда. А у моей бабушки были еще две сестры, то есть у него было три малолетних дочери. И они, и та и другая, были определены в Институт благородных девиц. И вот это знакомство, и дружба...



Н. Ф.: В Смольный? Или в какой?

Н. Л.: Боюсь соврать. Не знаю.

Н. Ф.: А как звали дедушку? Отца бабушки?

Н. Л.: Его звали Евгений Михайлович Кузьмин.

Н. Ф.: Нет. Это Кузьмин — это фамилия мамы.

Н. Л.: Да, это ее отец. А тот дед был Афанасьев.

Н. Ф.: Афанасьев. Который был полковником...

Н. Л.: Да-да-да. И это была очень большая дружба, с детсадовского возраста. А у Ольги Дмитриевны одна дочка жила в Париже. И драпала она в Париж аж через Киев, останавливаясь у моих дедушки и бабушки. И ненавидела она большевиков до нервной дрожи! Мама рассказывала: ложилась на кровать, закрывалась подушкой, и через всхлипы: «Ну зачем они так свистят?!». (*Смеется.*) В конце концов она каким-то образом отбыла в Париж.

Между прочим, мамин брат, мой дядя, ушел с белыми: с Деникиным, с Шульгиным. В одной группе они были, шли через Румынию, и, по-видимому, там где-то он и погиб. Я его никогда не видела. Бабушка, как мать, всегда ждала от него хоть какую-то весточку. Но, по-видимому, он погиб. Румыны же зверски выдавали всех наших там, на границе. Такой, как Шульгин, прошел, а этот, девятнадцатилетний мальчишка, по-видимому, там где-то и погиб.

Во всяком случае, с семейством Форшей мои родители и мои деды были в большой, близкой дружбе. И поэтому когда надо было маме сбывать эти знаменитые — я вам говорила — оставшиеся золотые, она ходила к Ольге Дмитриевне, потому что та отправляла как раз такие вещи за границу, своей старшей дочери. Между прочим, отправляла часто через Эренбурга. Тот же болтался все время туда-сюда. У Ольги Дмитриевны была еще одна дочка, Тамара, геолог. И она какое-то время сидела. Ее посадили что-то очень рано, в начале 30-х годов, в середине 30-х она уже вышла. И потом все время где-то болталась, по каким-то экспедициям. Но все-таки...

А у Ольги Дмитриевны было так: у нее были взлеты, когда она была в фаворе, все было хорошо, она хорошо зарабатывала, и квартиру получила роскошную в Питере. А потом были падения, когда она имела легкомыслие принадлежать к какой-то группе писательской, которую потом всю пересадили, ее не пересадили, она... благополучно проскочила. Но тогда она была тише воды ниже травы. А тут, по-видимому, был подъем, и в каком-то разговоре она сказала, дескать, дыма без огня не бывает: раз посадили, значит, было за что. А у мамы муж сидит, сын сидит, и отношение у нее к этой власти совершенно определенное.

Н. Ф.: А она о ком это сказала? Вообще?

Н. Л.: Может быть, об Иване, может быть, еще о ком-то — не знаю. Во всяком случае, «раз сидит, значит, за дело». Мама ей говорит: «Что, и Тамара за дело сидела?» — и та закрутилась, завертелась, ничего не ответила, но мама в этом доме перестала бывать. Вот такие отношения были. Я про лагерь еще вам ничего не говорила?

Н. Ф.: Нет-нет-нет, еще даже...

Н. Л.: Все было благополучно...

Н. Ф.: Иван первый?

Н. Л.: Ивана первого в 50-м году посадили. Следствие у него было копеечное, очень быстро его отправили

туда, в Норильск. И он, как окончивший железнодорожный техникум и полтора курса института, был там поставлен в конструкторское бюро. И были какие-то большие зачеты, еще что-то — во всяком случае, помню, он прислал мне какие-то по тем временам огромные деньги. Мама уже села, наверное. У нас был зазор: маму посадили в феврале 51-го, а меня — тоже в 51-м, но в июле. И в этот промежуток он успел мне прислать эти большие деньги, как раз на окончание университета. Ну что, училась я, старалась учиться так, чтобы получать повышенную стипендию. Завелась у меня там подруга, с которой мы вместе в общежитии жили, и которую я и после лагеря встретила...

Н. Ф.: Да. Да-да.

Н. Л.: Может, она и сейчас живет. Я у нее один раз была, и больше мне не захотелось. Хотя, надо сказать, она из-за меня сколько-то имела неприятностей.

Н. Ф.: Вы успели закончить?

Н. Л.: Успела. И вот тогда было такое событие. Она вышла замуж...

Н. Ф.: Подруга?

Н. Л.: Подруга. Таисия. Вышла замуж за одного из студентов, медика, он уже кончил к тому времени, работал. Он фронтовик, имел комнату здесь же, в Риге. И вот в самом конце она переехала к нему. И поэтому когда меня опять вызвали туда... Видите, все забываю последовательность.

Последовательность такая была: мама жила в одной комнате с очень милой докторшей, которую она сама к себе пригласила. А жила она в огромном бараке! Такой одноэтажный барак, двускатный. Широкий коридор, загаженный до предела. Направо, налево комнаты. В частности, здесь был ВТЭК. И каждые полгода имевшие инвалидность должны были приходить в этот ВТЭК, подтвердить, что у него нога не выросла и рука тоже, и что он как был слепой, так и остался. И вот они ехали, неизвестно на чем и неизвестно как, из глубинки новгородской, сожженной, разоренной области. Приезжали в этот ВТЭК. И в один день они никогда не справлялись, должны были тут переночевать, в этом коридоре, загаженном до предела, потому что никто никогда его не мыл. ВТЭК был, помню, где-то справа, а лаборатория больничная слева. И вот там маме дали комнату, и тут же была лаборатория, в которой она работала. То есть прямо из комнаты вход в лабораторию. Еще и маленькая кухня была. И тут же был, по-видимому, и горздрав, потому что эта Нина Звонок, молодой врач, по распределению приехала сюда, пришла в горздрав, и ей дали назначение: тоже, кажется, в лабораторию.



Нина Звонок (второй ряд слева). 1951 г.

В области была жуткая вспышка малярии. Все было разрушено, болота выросли до невероятия! Всякие ирригационные системы — всего этого не было. И страшная была малярия. Нина должна была работать в санэпидстанции: поливали они эти болота какой-то пакостью. Керосином, по-моему... А тут, значит, она в гордздраве получила назначение, вышла оттуда и стоит в этом коридоре страшном, не знает, куда. Квартиры ей не дали, молодому специалисту. И что-то она маме приглянулась, и не обманулась мама в своем человековедении. Она ее пригласила жить с собой. И эта Нина жила с ней вместе. Она пережила мамин арест и обыск. Одна комната, две кровати, стол и вешалка со всеми вещами. В основном Ниниными, у мамы-то ничего и не было. Во всяком случае, самая ценная недвижимость, или движимость, которая была у мамы, — черная, страшная коза, — осталась нереквизированной.

Н. Ф.: Живая коза?

Н. Л.: Живая коза. Я ее продала потом. (*Смеется.*) Она была известная в округе, хорошая скотина...Злобная! Как сатана, на которую была похожа!

Н. Ф.: Бодалась?

Н. Л.: Бодучая, хотя безрогая! И очень сообразительная. Ее на колышке привяжут где-нибудь, она все кругом сожрет, потом поднатужится, выдернет кол — и в огороды. Всегда в казенные, никогда не в частные. (*Смеется.*)А потом приходит под окно лаборатории. И вот эту козу я продала...

Арест

Он меня целый день промурыжил, когда я приехала туда. Пришла туда и сказала: «Вот, я приехала», — тоже, овца. Он: «Придите через два часа, после обеда...» Пришла я после обеда, и он записал с меня все, что положено, — и уже темно, поздно — поехал делать обыск, в ту же квартиру.

Н. Ф.: Хотя мама была уже арестована?

Н. Л.: Да, мама сидела несколько месяцев. Или полгода. И уже поздно ночью привез меня в тюрьму. В эту

самую, огромную... тогда казавшуюся каменным небоскребом! По-моему, она трехэтажная была. Высокий, большой дом, единственный кирпичный. Из этой камеры, пока не поставили намордника, была возможность, если дотянешься до высокого окна — близкие ходили на мост — можно было увидеть, кто принес. А перед тем как ехать второй раз в Новгород, чтобы получить диплом, мне надо было выписаться из общежития, что я и сделала. И когда следователь записывал самое первое: фамилию, имя, отчество, место рождения, год рождения... — а дальше пишет: «без определенных занятий, без определенного места жительства». Я говорю: «Как так? Я только что, две недели тому назад кончила университет! Я имею право хоть месяц какой-то отпуск иметь?!» — «А вам... — Он прищурился так и говорит: — А вам не все равно?» — «И правда, уже теперь все равно. Пиши, Емеля, твоя неделя». Слава богу, что не пришлось, а могло ведь очень нагадить это! Потому что, когда я освободилась... Все люди освободившиеся, имеющие снятие судимости, а потом реабилитацию, имеют право получить квартиру, или какое-то жилье в том месте, откуда их арестовали. А у меня ничего не было: у меня не было ни места, ничего. Слава богу, Рига мне не понадобилась... Вот такая мелкая, а все-таки пакость. А еще он это сделал потому, что не имел права меня так арестовывать. Он должен был писать в латвийское ГБ, те должны были меня арестовать и переправить к нему в Новгород. А зачем ему эта морока? Он меня поманил...

Мне эта Нина, про которую я вам долго плела что-то, мы с ней переписывались все время, она мне писала, в те времена самое страшное — когда родные отказывались! Она ходила, носила маме передачу, и следователь, когда захотел меня вызвать, ей позвонил. И сказал: вот, следствие кончено, и он может дать мне свидание с мамой, если я приеду. Ну и я приехала! Обещают дать свидание — значит, надо ехать! Я выписалась из общежития, что должна была так или иначе сделать, получила диплом на руки. И все свои шмоточки — главным образом, книги, еще что-то было: швейная машинка была — все отнесла Таисии. И она взяла. И вот потом она имела... И когда я в лагерь попала, я написала ей и написала Татьяне Борисовне Букреевой в Киев, адрес которой мама заставила нас заучить. И ее, бедолагу, начали таскать по всем этим... А она вступала в партию, и ей на этот партийный хвост надавили: «Такая-сякая, эдакая... Прекратить всякие сношения, все, что у тебя хранится, — все отдай...» Слава богу, она мне хоть машинку не прислала. Но я начала вдруг получать сумасшедшие посылки! Поверить невозможно, что она прислала. Она мне прислала серебряные ложки, довольно много. Такая сахарница серебряная...



Татьяна Борисовна Букреева

Н. Ф.: Это ваши были ложки?

Н. Л.: Да.

Н. Ф.: Спасенные из Детского Села?

Н. Л.: Да-да-да. Мы серебро взяли с собой.

Н. Ф.: Понятно.

Н. Л.: Потом такая большая серебряная сухарница: и она мне была здесь страшно нужна, сами понимаете... *(Смеется.)*

Н. Ф.: Ну конечно, самая нужная вещь...

Н. Л.: Не говоря о том, что она прислала мне мое выпускное платье, потом еще какие-то абсолютно не нужные вещи: летние платья... А я понять [не могла], она же ничего не написала! Сначала-то мы переписывались, нормально. Она мне первая прислала мыло! Самое главное было — мыло! Платок на голову. Меня же арестовали в июле месяце. Судили меня в сентябре, а в лагерь я прибыла в начале октября.

Н. Ф.: Да, уже к зиме.

Н. Л.: Сами понимаете...

Н. Ф.: Да.

Н. Л.: И она мне все это начала присылать. Что делать? Почему? Отчего? Ничего не знаю. Так с собой и возила.

Н. Ф.: Ей сказали прервать общение, вот она и прервала.

Н. Л.: Ну конечно! Самый такой, знаете, эффективный хвост — партия. А она была из искренне верующих. У нее отец был судомехаником на «Авроре». И он всю жизнь оставался таким. А когда мы оттяпали Латвию, он латыш, его за тот же партийный хвост — и в Латвию, председателем колхоза. Причем какой там колхоз! Это все разваливающееся... И так как он механик, по-видимому, очень знающий, настоящий, еще с дореволюционным обучением, он там себе состряпал из каких-то забытых запчастей — не знаю, из чего, — как Таисия говорила, «Антилопу Гну», с которой его в Ригу не пускали, оставлял там где-то, на въезде. Вот он на ней Тае иногда привозил какую-то еду. Таисия все знала про меня: и что Ивана посадили, ей одной я сказала, а потом маму — в общем, у меня от нее не было тайн. И она мне вроде бы верила, но партии верила, по-видимому, больше.

Н. Ф.: Боялась еще...

Н. Л.: Она не боялась! Она, я говорю, искренно верила!

Н. Ф.: Нет, ну ей сказали «прервать общение»...

Н. Л.: Да!

Н. Ф.: Почему не оставить у себя? Оставить у себя до лучших времен, когда сможет вам передать?

Н. Л.: Громоздкие вещи она оставила. В частности, у меня была зингеровская швейная машинка — до сих пор у меня на балконе стоит. Еще что-то. Книжки, конечно. Ей пригодились. По специальности.

Загнали меня сначала в бокс, там никого не было, пустой. Некому было сказать мне первые два слова, как себя вести. Там стояли две двойных кровати. Я залезла на верхнюю полку, переспала. И следующий день принесли сначала чай, а в обед принесли... А бокс был совершенно темный, окошечко ма-ахонькое между двумя дверьми. Одни железные двери: каждый раз, когда открываются, закрываются — лязг. Потом пройти — там две как будто камеры, и опять железные двери. Я этот день там просидела. А потом, говорю: время узнается — вот, обед принесли. Но, слава богу, не мешали мне лежать на этих досках, потому что там ничего не было, просто доски.

” Приносят обед. Такая жижа, и рыбки глазки плавают. Попробовала: м-да... Я же тогда Солженицына не читала!

Но я сама себе сказала: «Помощи тебе ниоткуда не будет. Иван сидит, мама сидит, ты последняя. Так что лопай что дают». И лопала. Вечером... не вечером, ночью. Это тоже такая подлость. Не вечером, а ночью, глубокой ночью! Подняли меня, повели куда-то, выдали матрас и — в этой новгородской тюрьме давали, кроме матраса, не простыню и не две простыни, а черные мешки. Как покойников теперь заворачивают. Только те были, по-видимому, полотняные. Что-то, что называется подушкой. С этим повели меня, открыли дверь: «Заходи». Ну, там люди уже есть. И одно свободное место наверху. Залезла туда, а они вроде проснулись и опять заснули. Уже утром знакомились. Состав такой: одна, сильно-сильно беременная, говорила, что где-то работала в штабе у Власова. Там, знаете, сочиняют совершенно жуткие истории! Вторая, как я потом поняла, через много времени, блатная или приблатненная, у нее «пятьдесят восемь — четырнадцать», это побег. А третья — повторница. Немолодая. Они ее считали стукачкой. Может быть, и правильно. Во всяком случае, она почти каждый день уходила куда-то. То ли ее вызывали, то ли она записывалась к врачу, то ли еще что... Сколько-то времени отсутствовала, потом возвращалась

и почти ни с кем не общалась. Я даже не помню, как ее звали. Не знаю, знала ли я, как ее звали.

В тот же день или очень скоро вызвали меня, стали допрашивать. В общем, записали все то, что я говорила в 48-м году. Все повторилось до мелочей. Один раз мне устроили очную ставку с одной из женщин, с которыми я была знакома в Пожеревицах. Такая полуинтеллигентная, а может, интеллигентная девица, очень хороша собой. Наверное, она тоже паспорта писала, не помню. Красивая, видная женщина. И когда были танцы, она там была как прима. И один раз за все время немцы, высокие, как они называются: комендант, адъютант, потом этот мамин начальник, который на приеме гражданских лиц сидел, пригласили ее, ее сестру Асю и меня. Меня, как я понимаю, в качестве переводчицы, в основном. Но они тоже немножечко «шп्रेхали». (Смеется.) Угощение в виде ликера, одной рюмочки на весь вечер. Какие-то танцы... Это было один раз.

Н. Ф.: У немцев, немцы устроили?

Н. Л.: Да, это было один раз. Я об этом сказала, и она об этом сказала, еще до того, как видела меня. Так что мы сошлись полностью. Ну, и все. А больше никаких...

Н. Ф.: Она тоже сидела?

Н. Л.: Нет...Я не знаю. Может, они меня увели, а потом ее посадили.

Н. Ф.: Да. Но в тот момент она была свободна...

Н. Л.: Во всяком случае, она была в гражданском платье. Красивое платье, летнее...

Н. Ф.: Но тоже в Новгороде, потому что это же было все в Пожеревицах?

Н. Л.: Да, тоже в Новгороде. А в Новгороде мама, когда она там жила и свободно ходила, она встретила нашу первую хозяйку, Нюру Ковт. Так что там еще кто-то был. А с этой Аней я в первый или во второй год моей жизни, когда еще не раскололась, не все стало известно, встретила в Риге и бежала от нее как не знаю кто. Мне тогда совсем не нужны были свидетели пожеревицкие. А тут, значит, встретились в таком антураже. Потом он вызвал меня еще раз, чтобы я ему сделала задание по английскому или еще по чему-то. И я сидела, делала, а он занимался своими делами. А в последний раз — надо было уже подписывать так называемую «двести шестую». Вот тут много интересного было. Не помню, говорила я вам, что мне водка помогла? Нет? Я это обыкновенно рассказываю как курьез. Когда я работала в сельхозотделе...

Н. Ф.: А, как вы разливали спирт?

Н. Л.: Да-да-да.

Н. Ф.: Да. И они все помнили, местные крестьяне.

Н. Л.: Да-да.

Н. Ф.: Ну, это «помогла» в кавычках?

Н. Л.: Нет, помогла! Потому что я получила десять лет и «пособничество», а не «измену Родине». Тогда все получали двадцать пять. Вообще, такой шаблон был: двадцать пять. И когда я после суда пришла в камеру осужденных и меня спросили: «Сколько?» — я сказала: «Десять». — «А-а, детский срок!»

Н. Ф.: А если б спирта не было, они бы что-то придумали, какую-то измену?

Н. Л.: А кто их знает... кто их знает, Господи! Я себя вела с ним вполне лояльно. Я уверена, что мама, особенно когда узнала, что они меня посадили, дала волю эмоциям и наговорила им на пятьдесят лет, а не на двадцать пять.

Н. Ф.: То есть ей дали двадцать пять?

Н. Л.: Ей дали двадцать пять. И она была в Особлаге, там, в Тайшете. Ну вот. А тут, говорю, чтение «двести

шестой» было очень интересное. В общем, всех узнала: кого допрашивали, с кем вели беседы. Ни на кого у меня никакого нету... ни на кого я не обижена. Все правильно говорили, так, как было.

Суд и приговор

А потом меня увезли в Псков. Сначала я видела, как маму увезли в Псков. Ее раньше увезли. У нас еще тогда не было в Новгороде намордников, и мы знали примерно время, когда людей увозят на этап. И я видела, как она уходила. Это были внутренние окна, все окна камеры выходили во внутренний двор. И когда людей вводили на этап, их вели через весь двор, и там где-то сажали в «воронок». Меня привезли в Псков. А в Пскове было две камеры для «пятьдесят восьмой»: одна до суда, вторая после суда. И были они рядом, на первом этаже. И окна были закрыты сеткой. Ну и решетки, конечно. А если приблизишься к сетке и с той стороны приблизиться к сетке, можно разговаривать. Особенно когда разносят пищу или водят на оправку...

Н. Ф.: То есть вы разговаривали через коридор?

Н. Л.: Не через коридор, а через окно. Так что вот мы имели такое сношение, не видя друг друга. А потом, когда меня осудили... Про суд даже говорить не хочу: это ерунда.

Н. Ф.: Это ОСО был? Или суд был настоящий? В том смысле, что не ОСО?

Н. Л.: Нет, в лагере говорят, «с пóнтом суд». (*Смеется.*)

Н. Ф.: «С пóнтом суд», понятно.

Н. Л.: Там никого не было. Подошла ко мне какая-то кикимора, сильно покрашенная, очень-очень из себя представляющая, и сказала, что она мой адвокат. Я очень удивилась. Я понятия не имела, что будет еще какой-то адвокат. (*Смеется.*) Потом сидели еще несколько таких же теток. И все это длилось пятнадцать минут, не больше. И все: бонжур, покеда. Потом вдруг дают последнее слово: понятия не имею, что им говорить. (*Смеется.*) Мне следователь сказал, что десять лет будет. Так и дали: десять лет. Все-таки он постарался. Спасибо ему!

Н. Ф.: То есть он действительно хотел вам добра? Вы это так воспринимаете?

Н. Л.: Ну да, потому что под конец уже он устроил такой салон: пригласил еще двух следователей. Вроде так, для беседы. Они вели разговоры, как я училась, как не училась, как что было, как они учатся. Все они недоучки.

Н. Ф.: Студенты. Как бы они студенты, а вы — вчерашняя студентка.

Н. Л.: Да-да-да.

Н. Ф.: Посиделки такие...

Н. Л.: И я тоже студентка, и по этому самому злосчастному марксизму-ленинизму я только что госэкзамен сдала. Ну вот, собственно говоря, и все. А тут привели меня в камеру, где мама сидит. Там было еще, по моему, два человека. И даже нар не было, а был настил, на уровне постели, и что-то было там насыпано: то ли солома, то ли сено, то ли еще что-то. Не утруждали они себя особенно. Но мы были вместе! Господи! И тут очень приятная была еще одна студентка-медичка. Но ее, бедную, наверное, куда-то послали дальше, потому что в Кирове, на кировской пересылке она была вместе с мамой. А я... Меня повезли в Питер: там я встретила замечательную женщину, Наталью Дмитриевну Соколову, которая работала в музее при заводе имени Ломоносова, фарфоровом музее. А в Питере, в «Бутырке» тоже такие...

Н. Ф.: В Питере...

Н. Л.: Из Пскова привезли нас... Сначала маму увезли, и тут мы опять прощались. На этот раз действительно навсегда. Это я и помню, и в глазах у меня это есть, как она уходила.

Н. Ф.: То есть она от вас на этап уходила, из вашей камеры?

Н. Л.: Да, из моей камеры. Но почти неделю мы сидели вдвоем, потому что тех двух увели раньше. Потом увели маму, а меня увели последней, через день, по-моему. Я не помню, чтобы долго одна сидела. И вот привезли меня в Питер. Огромное помещение такое, конюшня целая. И там двойные нары, верхние и нижние, но не отдельно стоящие, а прямо так, сплошняком. И меня очень приглубила эта Наталья Дмитриевна Соколова. У меня от нее остался на память — она от своего халата отрезала кусок и сделала мне шарфик. Говорю же, я раздетая была. Да, а почему-то маму привезли туда позже. Ой, уже все перепутала! Не знаю, не помню. Во всяком случае, мама тоже вспоминала эту самую Наталью Дмитриевну. Это потом она в письмах писала.

Н. Ф.: То есть она как бы встретилась с ней и рассказывала, что вот... выяснили быстро, что вы там были.

Н. Л.: Да-да-да. Но в какой последовательности... Все забывается. Меня повезли в Горький из Питера, а маму в Киров. И в Киров приехала докторша, которая была у нас. Мама писала мне в лагерь, но письма я получила только после лагеря.

Н. Ф.: Она знала адрес?

Н. Л.: Да, адрес с пересылок. Она писала Татьяне Борисовне, по-моему, а та должна была мне переслать. Я сейчас боюсь вам соврать, как это шло. Во всяком случае, она в одной открыточке писала: «Вот, приехала Вера, докторша, а тебя все нету и нету».

Н. Ф.: Она просто какую-то передачу ей привезла оттуда? Это которую она пустила к себе жить в Новгороде?

Н. Л.: Да. Нет...

Н. Ф.: Да-да-да, вот эта Звонок?

Н. Л.: Нет, она носила ей передачу все время, она и мне...

Н. Ф.: В Киров поехала специально?

Н. Л.: Нет, зачем? Это Вера, докторша, которая жила с нами вместе в камере осужденных.

Н. Ф.: А, понятно.

Лагерь

Н. Л.: Она уже осуждена. Нет, слава богу, Нину Звонок это не тронуло. Несмотря на страхи Юрия Кузьмича. Ой, как он боялся! Он всего боялся! Одну вещь я никак не могла ему простить: когда Иван освободился, у него никого нет на воле — все сидят. А он условно-досрочно освободился. И от полноты чувств дал телеграмму на имя Маши Петрушевской. А Юрий Кузьмич не принял телеграмму. Это было для Ивана таким ударом! Я не хотела в этот дом вообще заходить, но потом меня тетка умолила по телефону. Стыдила, кругом все стыдили: «надо, надо» [прощать]. Это уже были вегетарианские времена. Начали отпускать.

Лагерь у меня был, как говорили те, кто со мной вместе сидел: «Приехал, сейчас на курорт!». А «курорт» потому, что кончился «женский государственный повал». Был такой «женский государственный повал», когда с вахты за невыполненную норму гнали в изолятор всю бригаду.



Мне пришлось работать на повале, но это была очень интересная, хитрая затея местного начальства. Повал был мужской, но мужики не выполняли норму. И тогда решили нелегально подключить женщин.

Поселили нас на одиннадцатом ОЛП, куда мы в самом начале приехали. А там вокруг все уже было вырублено, и ходить надо было очень далеко, мы много времени проводили в пути. Все равно ходили. Пока дойдем по глубокому снегу, потом загонят всех в огороженную загородку: вот надо было стоять, ждать, пока конвой на лыжах объедет все оцепление кругом, проверит, что нигде оно не нарушено. И тогда только пускают. А оцепление было вместе с мужиками. А посередине, между мужской и женской зоной, была еще одна «лежневка», и там тоже не пускали, там сидел конвой, чтобы, не дай бог, не совершился грех. Все равно совершался. С конвоем-то с одним всегда можно договориться, если очень надо, и если ему приплатишь, — ну и договаривались. И пускали нас. Свальный грех, прямо жуть! Жуть! Но это было позже. Сначала...

Н. Ф.: Это был Ветлаг?

Н. Л.: Это был Унжлаг. На Унже. Места Мельникова-Печерского. Буквально упоминаются те же названия: Керженец... еще что-то, где до Керженца мы были... А дальше тоже что-то из Мельникова-Печерского. Хорошо, когда гоняли на скит Кирилловка. Очень хорошо было, весной особенно. Ну вот, а сначала меня отделили от двух «бытовичек», с которыми я приехала на этот лагерь... Я не сказала: нас привезли, в Сухобезводной выгрузили, и мы были три женщины — две «бытовички» и я. И поместили нас на комендантский ОЛП так называемый. И одна из этих женщин сразу же — а тут можно было ходить, можно было выходить в пределах ОЛП, — она куда-то пошла: в одно место, в другое, в третье, и договорилась, что ее отправляют на третий лагпункт — это фабрика. Единственный женский лагпункт, где работа была под крышей. Швейная фабрика. Она, значит, ушла на фабрику. А мы трое — я и еще две женщины молодые — нас повезли на штрафной ОЛП.

Начальник ОЛП встретил нас после развода. Мы стояли, ждали, когда развод кончится. Входим туда, а он говорит: «Ну, че натворили?» — «Мы ничего не натворили, мы только что пришли: мы вот только-только, тепленькие, с воли». Он сначала не поверил даже. Потом, видно, посмотрел наши бумажки. Я, так сказать, к девицам уже как-то прикипела, думала вместе будем — нет, их повели в «бытовые» бараки, а меня — один барак на этом ОЛП был, где 58-я статья. Никого не было, и там очень было прилично: были кровати, не нары, а кровати. Показали мне там место, я устроилась. Потом, вспоминаю, было... Где-то сдать вещи, где-то получить, — в общем, бытовая часть. Устроилась. Никого нет, все на работе. Потом все являются. Бригадир, такие-то, сякие-то. На следующий день выхожу на работу, уже во всем казенном. Рукава вот такие, брюки тоже такие — на пилораму, доски относить. Приходит начальник производства, из бывших заключенных, посмотрел на меня, говорит бригадиру: «Женьк! Ты чего же новенькую не приодела?» Вечером меня «приодели»: чего-то мне дали такое, что более или менее подходит. И так несколько дней я ходила с этой бригадой. Кто-то в лесу работает, кто-то на пилораме, кто-то еще где-то. И вдруг объявляют: эта бригада вся становится бригадой возчиков. А там было так: две секции. Одна секция, а пройдешь через нее — другая секция. Вот там мы жили. Тут же нам поставили двойные, как положено, нары. И меня в полевую бригаду, на нижнюю полку, нижнюю кровать у самой двери. И тут в первый раз за все время, что была в лагере, в первый и, надо сказать, последний раз, я упала на эту самую койку и начала плакать, заревела буквально. Я вам говорю: в первый и в последний раз. Потом слышу громкий разговор в соседней секции. Вдруг прибегает оттуда одна из работяг, говорит: «Вставай! Собирай свои шмотки!» Ничего не понимаю. Раз приказывают — значит, собираю шмотки. Она забирает их, кладет на место около печки, наверху. Она внизу, а я наверху. Вот благодаря этой Наде Молоковой, которая взяла надо мной шефство, покровительствовала мне все время, пока мы были вместе, у меня первые мои лагерные месяцы были лучше, чем они могли быть у всех прочих. Потому что эта Надя Молокова была старая лагерница. Она семь лет уже отсидела...

Н. Ф.: По «пятьдесят восьмой»?

Н. Л.: По «пятьдесят восьмой». Она была из Бобруйска, откуда-то оттуда, тоже из оккупации. Она не отличалась особенной интеллигентностью. Потом, когда уже мы расстались — она освободилась раньше, — она мне писала письма, довольно примитивные, но она была необыкновенным человеком! Так как она уже, говорю, была старая лагерница, она никого не боялась: ни бригадира, ни начальников... Она очень хорошо работала, и это все знали. Бригадир ее ценили за хорошую работу. Но она никому ничего не спускала! Могла и в физиономию заехать, и обматерить, и все что угодно.

Н. Ф.: Она из крестьянской семьи была, да?

Н. Л.: По-моему, да. По-моему, именно из крестьянской семьи.

Н. Ф.: А вот еще: почему вы заплакали? Это вообще...

Н. Л.: От горькой обиды! Я так хотела к ним прижиться! И я уже...

Н. Ф.: Именно оттого, что эти вот отношения...

Н. Л.: И потом, знаете, по-видимому, за все! За все! И за себя, и за маму, и за Ивана, и за всех на свете...

Н. Ф.: Обидно, да, что даже вот это...

Н. Л.: Тут уже как будто все одинаковые — и почему они меня выкинули от себя?!

Н. Ф.: А они выкинули, возчики эти?

Н. Л.: Я уже не знаю...Во всяком случае, Надя взяла на себя большую обузу. Потому что, сами понимаете, что я никогда в жизни с лошадьми не работала. Я знала только, что к лошади нельзя подходить сзади, потому что она брыкается. (Смеется.) В общем, всему должна была она меня научить! И она это сделала. Она, как старый опытный возчик, очень быстро справляла свою лошадь, а потом бежала помогать мне. Потому что это великое дело! А потом мы ехали в лес, и надо было вывозить... А снег по колено! И мы вывозили брошенный там лес. Потому что назаготавливали, а потом вот так же [всех оттуда] сорвали. Это два разных ведомства: охрана и производство. Производство что-то делает, они оставили что-то на завтра: «Вот это вот будете завтра делать». Приходят вечером домой, им говорят: «Вы сегодня идете на этап». И все, что там осталось, — там и осталось. Никакой согласованности нет, скорее наоборот.

” И вот по этим кочкам... не кочкам, а по пенькам вывести лошадь на дорогу — великое искусство, я вам скажу! Да еще когда груженная. Тяжелые эти сани с подсанками, длинные — это искусство.

И вот Надя выведет свою лошадь, выведет мою...

Н. Ф.: Под уздцы.

Н. Л.: Ну, это уж я не помню, как: всяко... Там смотреть все время надо, чтобы она не села на пенек... Потом надо...

Н. Ф.: Да и сани длинные очень.

Н. Л.: В том-то и дело! Сядет на пенек первая лошадь, первые санки, или вторые... В общем, это искусство. Она выведет свою лошадь, выведет мою, да еще так, чтобы быть не в числе последних, а в числе первых, потому что назад ехать — все может быть. Могут сани развалиться, может то, что нагрузили, развалиться, или, опять-таки, за что-то зацепиться. Если ты впереди, в начале колонны, к тебе все прибегут на помощь. А если сзади — то пока колонна остановится, пока конвой скличет всех, чтобы пришли, подсобили. Так что, говорю, это великое дело — то, что она мне сделала.

И в этой колонне возчиков мы как-то ехали — это была хорошая поездка — на силосную яму. Это где-то заложили силос, на каком-то поле. Причем ехали по «лежневке» так называемой. На «лежневке» хорошо идут лошади, и едет все хорошо. А был сильный-сильный мороз. Накидали, загрузили сани, поехали. И даже сели на сани. Можно было сесть на сани, что не всегда можно, когда по лесной дороге едешь. В общем, я простудилась, пошла в санчасть с высокой температурой, и тут же меня положили в стационар. Дня три я лежала никакая. Я их не помню. Я помню уже тот день, когда чувствовала себя прилично и чем-то интересовалась, кроме того, как выжить. И где-то после завтрака, после врачебного обхода, если он был, во всяком случае, в первой половине дня, входит в палату немолодая, очень веселая, подвижная женщина, разносит книги и берет у людей тоже книги. Она спрашивает, что прочитали, как прочитали, рекомендует какие-то книги, которые дает. А, по-видимому, все уже давно лежат, они уже не первый раз берут. А я так жалобно прошу: «А мне можно получить книжку?» — «Да, пожалуйста». И протягивает мне Ажаева, что-то из сугубо советской литературы, которая еще в университете была. Смотрит на меня, что у меня кислая физиономия, и спрашивает: «А как ваша фамилия?» Я ей говорю. Она: «Давайте книжку!» Взяла книжку, убежала и через некоторое время прибегает, приносит мне воспоминания актера Юрьева. Такая толстая, у меня вот здесь стоит сейчас. (*Смеется.*) Еще с того времени!

Н. Ф.: Та самая?

Н. Л.: Та самая! (*Смеется.*)

Н. Ф.: Это была ее книжка, личная?

Н. Л.: Это все ее были! Она была известна всем: и обслуге, и конвою, что это вот такая тетка, которая таскает за собой мешок книг. Ну и потом — это была моя судьба. Вон она там, ее фотография. Наталья Милюева*. Потому что людей, говорящих на русском языке, за время, что я там была, было — не насчитаешь на двух руках, только на одной. Это все была Белоруссия, Западная Украина, Литва, Польша (были и поляки). Белоруссия я сказала, кажется, да? Вот такой воляпюк, сдобренный хорошим матерком. Уши вяли.

* Аничкова Наталья Милюева (1896—1975) — филолог, заключенная Унжлага (Сухобезводное) в 1949—1955 годах. Входит в число свидетелей «Архипелага ГУЛАГ».

Н. Ф.: То есть это были в значительной мере «бытовики». «Бытовички».

Н. Л.: Зачем «бытовички»? Это не «бытовички».

Н. Ф.: В вашем бараке, вы имеете в виду.

Н. Л.: И в бараке, и в бригаде, когда поехали в лес, и когда куда-нибудь еще...

Н. Ф.: Это бригада была «пятьдесят восьмая»?

Н. Л.: «Пятьдесят восьмая», но, говорю...

Н. Ф.: Да, понятно, это были из этих...

Н. Л.: Западные... «Западенцы».

Н. Ф.: «Западенцы», да.

Н. Л.: Это все оккупация была.

Н. Ф.: Да, понятно. Но в этом же лагере были и...

Н. Л.: Были и «бытовики»...

Н. Ф.: И были уголовники.

Н. Л.: Один барак был «пятьдесят восьмой», а там было, по-моему, десять или пятнадцать барачков. Мы с ними никак не пересекались.

Н. Ф.: И не страдали от них?

Н. Л.: Никак. Мы с ними не соприкасались.

Н. Ф.: То есть такого ужаса, какой описывают в женских лагерях, не было?

Н. Л.: Нет. Нет. Нет.

Н. Ф.: Когда отнимают все, раздевают, проигрывают в карты — этого не было никогда?

Н. Л.: Нет-нет-нет. Не зря говорили эти мои солагерницы, что «сейчас это курорт».

Н. Ф.: Курорт, угу.

Н. Л.: Хотя доставалось всяко.

Н. Ф.: Курорт тот еще.

Н. Л.: Мне доставалось, а может, они считали, что это так и должно быть. А с Натальей Милиевой мы потом весь лагерь прошли.

Н. Ф.: Это был какой год, когда она вам принесла воспоминания Юрьева?

Н. Л.: Сразу же, 51-й... А может быть, уже начало 52-го...Пожалуй, начало 52-го, да. С этого и началась наша великая дружба.

Н. Ф.: А она уже тогда была заведующей пекарней?

Н. Л.: Нет, она тогда при больничке...

Н. Ф.: При больничке была.

Н. Л.: При местной больничке была сестрой-хозяйкой, или чем-то в этом роде.

Н. Ф.: У нее большой был срок тоже, да?

Н. Л.: Десять лет у нее было, она сидела с 49-го. А я с 51-го. Потом уже мы переехали, когда лето началось, весной, когда кончается повал. А тут повал был очень либеральный: они для себя заготавливали. Таких зверских норм и зверских штрафов за то, что не выполнил норму, — такого не было. Сейчас я буду путать, потому что я эти года не помню: когда и в каком году, на каком лагпункте была. Было там два сельскохозяйственных лагпункта: «Пятый» и «Пятая подкомандировка».

Н. Ф.: А где они? Вы помните деревни, где они находились?

Н. Л.: Никаких.

Н. Ф.: Просто только: «Пятый»...

Н. Л.: Да, и еще и «Подкомандировка». Это были мои два ангела-хранителя: Надя Молокова и Наталья Милиевна. Это была уже, по-видимому, ранняя весна, когда я туда попала, в больничку. А весной Милиевну увезли в больницу большую, так что дальше я не помню, чтобы она там, на Одиннадцатом была. Ей было уже под шестьдесят. У нее была бесконечная астма и гипертония и всякое прочее. Так что она не вылезала: то в больнице, то на сельскохозяйственном каком-нибудь ОЛП, но тоже при санчасти.

Ну, а нас перевезли тогда на один из сельскохозяйственных ОЛП, всю бригаду. Тоже возчиками мы были: это было хорошо. Возчики — это было хорошо. Более-менее вольная жизнь. В какой-то мере и начальство от нас зависело. Им вечно что-то нужно было привезти. Дрова им завезти. Или когда начался сельскохозяйственный сезон — какую-нибудь капусту, еще что-то. Ну а мы себе в штаны укладывали овощи. Фруктов не было, овощи были. *(Смеется.)* Потом дома что-нибудь сварить из этого. Лето — это на улице печка. Ну что вам рассказать еще?

Н. Ф.: Вот про Наталью Милиевну — как дальше? Вас развезли в разные лагпункты?

Н. Л.: Нас все время то развозили, то свозили. И где-то это было, на каком-то из сельскохозяйственных ОЛП: во была компания! Вот откуда Наталья Милиевна обо мне узнала: я же, по-моему, рассказывала, как попала в так называемый ОП — отдых производственников. Меня Женя, бригадирша, послала, немножко оклематься. И там заведующей ОП была Ольга Кондратьевна Башко. У меня все их фотографии есть: и Натальи Милиевны, и Ольги Кондратьевны. Она была западница, из Львова. Очень хорошо говорила по-русски, совершенно свободно. Она была певицей в консерватории, или уж не знаю где. А как-то мы собрались, вся наша компания собралась: «Ольга Кондратьевна, а по какой статье вы сидите?» Она говорит: «Пятьдесят восемь — два». И оказалось, что никто не знает, что такое «два». Вот вы знаете или нет?

Н. Ф.: Вообще, если она с Украины, там «пятьдесят четыре».

Н. Л.: Нет, у нее... «пятьдесят восемь — два».

Н. Ф.: И что это оказалось?

Н. Л.: Вы бы видели ее! Это такое, знаете, утонченное, хрупкое существо... Никогда никого не обидит, никому грубо не ответит. А это «вооруженное восстание». «Подготовка к вооруженному восстанию». Во время войны у нее в квартире — она сдавала комнаты, потому что плохо было. А когда война кончилась, этот квартирант ушел с немцами, естественно. И оставил целый шкаф книг. Она как порядочный человек никогда не лезла в этот шкаф. Какой шкаф?! Что ты! Это чужое: он сказал, что потом за книгами придет. А когда пришли коммунисты, у них не было таких обычаев, чтобы куда-то не полезть. Они всюду полезли. Оказалось, что там книги, по-моему, Грушевского, или еще кого-то — в общем, украинских националистов. Ну и загребли.

Н. Ф.: Я-то подумал, что за книгами был склад оружия.

Н. Л.: Нет, этого вполне хватило...

Н. Ф.: Хватило Грушевского, да.

Н. Л.: Там еще много чего было, но это все были националистические книги. Вот и загребли. Я не знаю, почему не мужа. Может, он в армии был или что. Во всяком случае, она получила за это дело десять лет. И она заведовала этим отдыхом производственников. А потом ее увезли в больницу.

Н. Ф.: Она заболела?

Н. Л.: Я не знаю. Я никогда не спрашивала. Уехала она в эту самую, как в лагере говорят, «больничку». И там у нее была Наталья Милиевна, и Ольга Кондратьевна рассказала, что есть такая Надя Левитская. Была еще у нас в этой компании москвичка, Ида Григорьевна. Она сидела за мужа и за все...

Н. Ф.: А как фамилия?

Н. Л.: Гусман.

Н. Ф.: Это я что-то припоминаю...

Н. Л.: Во всяком случае, у нее главная боль была: «Сколько у меня хрустала было!» И ещечто-то в этом роде. Не по мужу, не по детям, нет! А вот хрусталь, ковры, еще что-то.

А еще у нас была Мария Александровна Гольдман. Ма-аленькая-маленькая женщина, кандидат филологических наук, работала в Ленинской библиотеке. Специалист по всяким трубадурам и прочему. Она мне такие лекции читала! Я окончила Рижский университет — у нас же вся профессура сбежала! У нас один был Михаил Петрович Николаев, который очень хорошо читал нам древнерусскую литературу. И он бы на ней так и остался, но никого другого не было, и он читал и XVIII век. А потом и XIX век читал, хорошо, с удовольствием! Как дошло до конца XIX века — вот тут он дрогнул в первый раз. И получилось так,

что мы уже кончали университет: у нас в дипломе должна стоять отметка по русской литературе конца XIX — начала XX века. А она у нас не читана. И на этого Михаила Петровича, по-видимому, сильно нажали. Партийного хвоста у него не было. Но, наверное, был какой-то другой. У нас все были беглые какие-то в Риге. У него, наверное, какой-нибудь другой хвост был, на который можно было нажать. И он нам прочитал весь Серебряный век за одну или две лекции. Так что толком даже фамилии этих авторов мы не знали!



А тут я получила полное удовольствие... У меня есть тетрадка толстая, в твердом переплете, стихов, переписанных мне наизусть Натальей Милиевной и Марьей Александровной. И Ахматова, и Цветаева, и Гумилев, и Всеволод Рождественский, — там много вот этих вот: все поэты Серебряного века, они знали наизусть и мне это позаписывали.

Н. Ф.: Их почерком?

Н. Л.: Ну да. И по французской литературе тоже. По нашим. Тоже не читали нам: тут как раз борьба с космополитизмом. И вот, на счастье, из Питера — выгнали, наверное, — приехала к нам Гальперина, и за две или три недели прочитала всю западную литературу.

Н. Ф.: То есть, это были именно лекции?

Н. Л.: Лекции, настоящие лекции. Причем хорошие лекторы были, хорошо читали. С самого начала, на первом курсе еще.

Н. Ф.: Нет, Гальперина приехала в институт?

Н. Л.: Да-да-да.

Н. Ф.: А я подумал, что она приехала в лагерь...

Н. Л.: Нет, она в институт приехала, прочитала нам курс западноевропейской литературы, который никто не брался читать. Потому что уже их, бедных, там раскурочили. Еще в Ригу, хорошо, послали, а не куда-нибудь.

Н. Ф.: Понятно. А в лагере — это были просто разговоры вечерние, это не были лекции?

Н. Л.: Какие лекции? Нет...

Н. Ф.: Ну конечно. Это просто общение дружеское?

Н. Л.: Да-да-да-да. Это лето было, мы выходили летом за барак, подальше от всякой проволоки, и там устраивали себе такое развлечение. Ой, как я им благодарна!

Н. Ф.: А они много знали, и та и другая, наизусть?

Н. Л.: Ой, без конца! Часами могли читать стихи, рассказывать. А Марья Александровна — она сидела по делу Андреева. Их много тогда загребли.

Н. Ф.: Что она рассказывала про это дело?

Н. Л.: Ничего. Про дело никто не рассказывал.

Н. Ф.: Не принято было?

Н. Л.: Не принято было. Это же как-то... ну не знаю.

Н. Ф.: Ну да.

Н. Л.: Это я потом узнала, что такое большое дело, что там больше восьмидесяти человек их было замешано, а тогда что такое Даниил Андреев — понятия не имела! Просто даже и не слыхала. Знала Леонида Андреева, которого недолюбливала. А про всех его сыновей — что Вадим, что этот Даниил — понятия не имела.

Н. Ф.: А потом с Вадимом вы познакомились, уже в другие времена?

Н. Л.: Да, и по другому поводу. И даже не познакомилась. Я знала только, что он есть, что он приехал, встречался, забрал... И бог с ним, и слава богу.

Н. Ф.: Наверное, перерыв надо сделать? Да? Еще можно?

Н. Л.: Нет, я сегодня какая-то... не совсем в порядке.

Н. Ф.: Может, тема?

Н. Л.: И тема, и все... Я обнаружила тут... Я куда-то это все записывала, у меня где-то это все записано. Но я сейчас вспоминала и обнаружила, что многое забыла, и особенно года, хронологию. Когда какой лагерь был, когда куда нас посылали. Что самое хорошее — это я знала. Что самое хорошее — это были сельскохозяйственные «Подкомандировки». «Подкомандировка пятая». Да еще лекции... покуда мы на конях работали — вот это все было очень, по тем временам, даже неплохо.

Н. Ф.: Может быть, мы прервемся, а потом посмотрим: если у вас будет настроение продолжать, продолжим. А если не будет — то и хватит на сегодня.

Н. Л.: Сейчас я еще посмотрю, что у меня там есть. Тут у меня Солженицын...

(Показывает фотографии.)

Н. Л.: Это мы на Соловках.

Н. Ф.: Вы туда ездили просто уже туристами, да?

Н. Л.: Да. Причем мы были рано, когда там никого не было. И никаких монахов не было, и везде пускали. Где можно было — пускали...

Текст авторизован.